



ЛЕБЕДЕВ Юрий Владимирович —

доктор филологических наук, профессор Костромского государственного педагогического университета, автор учебников и статей по отечественной литературе
y.v.lebedev@yandex.ru

ГЕРЦЕН И ЗАПАД К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.И.ГЕРЦЕНА

Аннотация. Критическое проникновение Герцена в мир Западной Европы нашло отражение в содержании и жанровой форме романа-эпопеи «Былое и думы».

Ключевые слова: семейная драма Герцена, западный эгоцентризм и мещанство, роман, роман-эпопея, частный человек и история.

Summary. The critical penetration of Herzen in the world of Western Europe was reflected in the content and form of the genre epic novel, «My Past and Thoughts».

Keywords: family drama, Herzen, Western self-centeredness and pettiness, romance, epic novel, the private man and history.

В середине студёной снежной зимы 1847 года Александр Иванович Герцен получил заграничный паспорт и отправился вместе с семьёй в Западную Европу. Поначалу он испытал радость освобождения, счастливую возможность дышать полной грудью. Предгрозовой общественный климат Европы утолял дремавшие в России гражданские страсти. Герцену казалось, что предстоящая революция положит начало социальному освобождению народов Европы и России (Письма из Avenue Marigny, 1847).

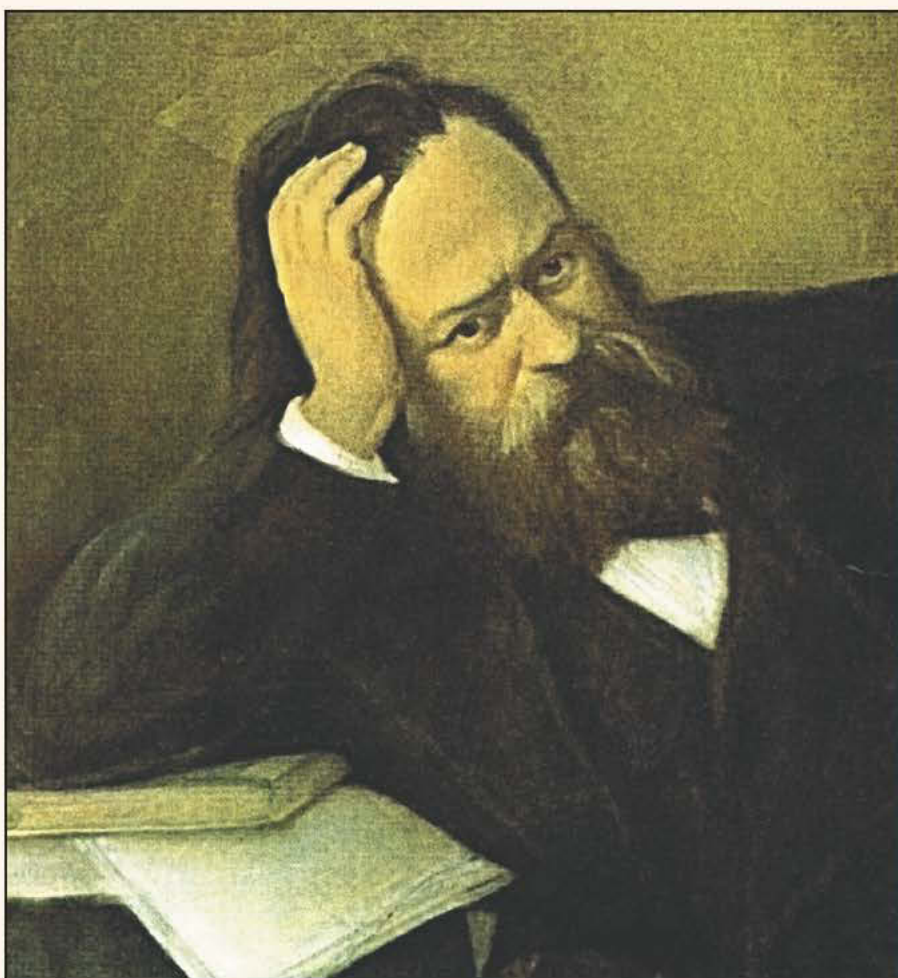
Он едет в Италию, где началось национально-освободительное движение. Осенью 1847 года Герцен участвует в народных шествиях и манифестациях, знакомится с вождями национально-освободительного движения в Италии. Итальянские впечатления отражаются в «Письмах с Via del Corso» (1847).

Весть о февральской революции 1848 года во Франции и о провозглашении там Второй Республики увлекает Герцена в Париж: «Новые силы пробудились в душе, старые надежды воскресли...» Казалось, пришла, наконец, вожденная минута возвращения Царства Божия на землю. Сбивались лучшие мечты юности и молодости о наступлении социализма.

Но эти мечты оказались призрачными. Настали роковые июньские дни. Восстание парижских рабочих было потоплено в крови изменившей идеалам социализма буржуазией. «Вечером 26 июня мы услышали, после победы «Националя» над Парижем, правильные залпы, с небольшими расстановками... Мы взглянули друг на друга, у всех лица были зелёные... «Ведь это расстреливают», — сказали мы в один голос и отвернулись друг от друга»¹.

Всё было кончено. Во избежание ареста Герцену пришлось срочно уезжать из Парижа в Женеву. Наступившая в Европе реакция заставила его с удивлением обнаружить, что западноевропейский режим ничуть не лучше, а, может быть, и хуже российского самодержавия.

«Было время, когда, близ Уральских гор, я создавал себе о Европе фантастическое представление; я верил в Европу и особенно во Францию. Я воспользовался первой же минутой свободы, чтобы приехать в Париж. То было



Неизвестный художник. Портрет А.И.Герцена. 1860

ещё до февральской революции. Я разглядел вещи несколько ближе и покраснел за свои представления. Теперь я раздражён несправедливостью бесчувственных публицистов, которые признают существование царизма только под 59-м градусом северной широты. С какой стати эти две мерки? Поносите сколько вам вздумается и осыпайте упреками петербургское самодержавие и постоянную нашу безработность; но поносите всюду и умеете распознавать деспотизм, в какой бы он форме ни проявлялся: носит ли он название президента республики, Временного правительства или Национального собрания... Оптический об-

ман, при помощи которого рабству придавали видимость свободы, рассеялся, маски спали... Мы видим теперь, что все существующие правительства — это вариации одной и той же старой темы... Европа с каждым днём становится всё более похожей на Петербург».

Обострение европейской реакции сопровождалось страшными ударами в личной жизни Герцена. В сентябре 1850 года он отказался выполнить повеление Николая I о немедленном возвращении в Россию. 18 декабря 1850 года Петербургский надворный уголовный суд, согласно высочайшего повеления, вынес приговор: «Подсудимого Герцена, ли-

шив всех прав состояния, признать за вечного изгнанника из пределов Российского государства». Вслед за этим начались гораздо более непоправимые беды. 16 ноября 1851 года в кораблекрушении погибли мать и младший сын Коля, а 2 мая 1852 г. — умерла после мучительной семейной драмы жена Герцена, Наталия Александровна. Эти события совпадали с контрреволюционным переворотом, совершённым во Франции Луи Бонапартом. 2 декабря 1851 года этот «косой кретин» (кличка, данная ему Герценом) разогнал национальное собрание, арестовал оппозиционных депутатов, а через год провозгласил себя императором.

1

«Всё рухнуло — общее и частное, европейская революция и домашний кров, свобода мира и личное счастье». «...Уже не семья, а целая страна идёт ко дну, и с ней, может быть, век, в который мы живём». «Печальная участь — переходить прямо с похорон своих близких на общие похороны». Герцену кажется теперь, что он находится на краю «нравственной гибели». Последние европейские события отняли у него всякую надежду и веру. Наступает период глубокого духовного кризиса, отразившегося в книге «С того берега» (1847—1850).

Прежде всего наступило разочарование в перспективах развития европейской цивилизации и в человеке, рождённом ею. Мещанство — вот её итог. «Под влиянием мещанства всё переменилось в Европе. Рыцарская честь заменилась бухгалтерской честностью, изящные нравы — нравами чинными, вежливость — чопорностью, гордость — обидчивостью, парки — огородами, дворцы — гостиницами, открытыми для всех (то есть для всех, имеющих деньги)... Вся нравственность свелась на то, что неимущий должен всеми средствами приобретать, а имущий — хранить и увеличивать собственность... Жизнь свелась на биржевую игру, всё превратилось в меняльные лавочки и рынки — редакции журналов, избирательные собрания...». Во имя собственности и её торжества люди погасили духовные светильники. «Из протестантизма они сделали свою религию — религию, примирявшую совесть христианина с занятием ростовщика, — религию до того мещанскую, что народ, ливший кровь за неё, её оставил».

Спала маска и с европейской демократии. «Все партии и оттенки мало-помалу разделились в мире мещанском на два главных стана: с одной стороны, мещане-собственники, упорно отказывающиеся поступиться своими монополиями, с другой — неимущие мещане, которые хотят вырвать из их рук их достояние, но не имеют силы, то есть, с одной стороны *скулость*, с другой — *зависть*. Так как действительно нравственного начала во всём этом нет, то и место лица в той или другой стороне определяется внешними условиями состояния, общественного положения. Одна волна оппозиции за другой достигают победы, то есть собственности или места, и естественно переходит со стороны

зависти на сторону скупости. Для этого перехода ничто не может быть лучше, как бесплодная качка парламентских прений, — она даёт движение и пределы, даёт *вид дела* и форму общих интересов для достижения своих личных целей... Парламентское правление <...> самое колоссальное беличье колесо в мире. Можно ли величественнее стоять на одном и том же месте, придавая себе вид торжественного марша, как оба английские парламента?»

Мещанство Герцен считает качеством не одного только сословия предпринимателей. Он видит, что эта болезнь поразила всё европейское общество. Суть мещанства состоит в оскудении идеалов, в подчинении всех духовных сил человека низменным эгоистическим интересам. За мещанством проглядывает страшный образ «князя мира сего». А потому европейский социализм, если даже он когда-нибудь всё-таки восторжествует, не спасёт человечество от мещанства. Этот социализм, по мнению Герцена, уничтожит экономическое неравенство, изменит к лучшему внешнюю жизнь людей, но не отразится на внутренней сущности человека. «Равномерная сытость» не является надёжным противоядием от духовного мещанства.

Расставшись в молодости с «религией небесной», с христианскими упованиями, Герцен берёт на себя смелость подвергнуть ещё более строгому суду и «религию земную», основанную на вере в исторический прогресс, ведущий к торжеству «мировой гармонии». «Объясните мне, пожалуйста, — говорит доктор в книге «С того берега», — отчего верить в Бога смешно, а верить в человечество не смешно; верить в Царство Небесное — глупо, а верить в земную утопию — умно? Отбросивши положительную религию, мы остались при всех религиозных привычках и, утратив рай на небе, верим в пришествие рая земного и хвастаемся этим».

«Если прогресс — цель, то для кого мы работаем? Кто этот Молох, который, по мере приближения к нему тружеников, вместо награды пятится и, в утешение изнурённым и обречённым на гибель толпам, которые ему кричат: «Обречённые смерти приветствуют тебя!», — только и умеет ответить горькой насмешкой, что после их смерти будет прекрасно на земле. Неужели и вы обрекаете современных людей на жалкую участь кариатид, поддерживающих террасу, на которой когда-нибудь другие будут танцевать... или на то, чтоб быть несчастными работниками, которые по колено в грязи тащат барку с таинственным руном и с смиренной надписью «прогресс в будущем» на флаге. Утомлённые падают на дороге, другие с свежими силами принимаются за верёвки, а дороги, как вы сами сказали, остаётся столько же, как при начале, потому что прогресс бесконечен».

Так Герцен доводит атеистический гуманизм до логического конца и обнаруживает там противоречия неразрешимые, приводящие в отчаяние. «Я уже не жду ничего, ничто, после всего виденного и испытанного мною, не удивит и не обрадует глубоко». Мыслитель,

провозгласивший человека мерою всех вещей, теперь понял всю шаткость этой «меры». Герцен дошёл до пограничного рубежа атеизма и позитивизма, вплотную подошёл к религиозному мироощущению, но шага вперёд не сделал.

Н.Н.Страхов писал: «Обыкновенно люди довольны и самими собою и теми, часто ничтожными, благами, которых они добиваются. Следовательно, большею частью люди слепы, так как не замечают ни собственного ничтожества, ни пустоты тех целей и желаний, которыми наполнена их жизнь. Герцен принадлежал к другой, далеко не столь многочисленной породе людей, к тем натурам, чьё настроение можно назвать по преимуществу религиозным, чьих этот мир, эта жизнь не удовлетворяют. Идеал, живущий в душах таких людей, может, по-видимому, вовсе не совпадать с идеалом церкви, но результаты выходят те же. Настойчиво, неотражимо открывается этим душам тёмная сторона каждого явления; мир обнаруживает им всё, что в нём достойно смеха, плача, негодования»². Достоинством Герцена является его бесстрашие в анализе себя и окружающей жизни, способность идти в мысли до конца, смело подходить к тем пределам, за которыми разум оказывается бессильным, и открыто сознаваться в его бессилии.

2

Своеобразным итогом жизненного и творческого пути Герцена явилась книга «Былое и думы». Он работал над нею в течение шестнадцати лет (1852—1868). «Былое и думы» — это полувековая хроника общественной жизни России и Западной Европы, причём, хроника особая, пропущенная сквозь сознание выдающейся личности ренессансного масштаба, наделённой «всемирной отзывчивостью», лишённой мещанской эгоистической замкнутости.

Достоевский в речи о Пушкине в 1880 году заметил, что такой тип личности у нас постоянный и надолго в нашей Русской земле поселившийся — «тип исторического русского скитальца». «Эти русские бездомные скитальцы продолжают и до сих пор своё скитальчество и ещё долго, кажется, не исчезнут. <...> Ибо русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастье, чтоб успокоиться: дешевле он не примирится...»³.

Дворянин Версилов, герой романа Достоевского «Подросток», обращаясь к сыну Аркадию, говорит: «У нас создан веками какой-то ещё нигде не выданный высший культурный тип, которого нет в целом мире, — тип всемирного боления за всех. <...> Я во Франции — француз, с немцем — немец, с древним греком — грек и тем самым наиболее русский. Тем самым я — настоящий русский и наиболее служу для России, ибо выставляю её главную мысль. <...> Русскому Европа так же драгоценна, как Россия: каждый камень в ней мил и дорог. Европа так же была отечеством нашим, как и Россия. <...> О, русским дороги эти старые чужие камни, эти чудеса старого Божьего мира, эти оскол-

ки святых чудес; и даже это нам дороже, чем им самим! У них теперь другие мысли и другие чувства, и они перестали дорожить старыми камнями... Там консерватор всего только борется за существование; да и петролейщик лезет лишь из-за права на кусок. Одна Россия живёт не для себя, а для мысли, и согласись, мой друг, знаменательный факт, что вот уже почти столетие, как Россия живёт решительно не для себя, а для одной лишь Европы! А им? О, им суждены страшные муки прежде, чем достигнуть Царствия Божия»⁴.

Замысел «Былого и дум» возник у Герцена в 1851 году, когда он прибыл в Лондон с надеждой на понимание и поддержку европейской революционной эмиграции. В семейной драме, закончившейся смертью Наталии Александровны, Герцен обвинял немецкого революционного поэта Георга Гервега, которого она имела несчастье полюбить.

Гервег был одно время близок к Герцену. Вместе они пережили трагические июньские дни, вместе покинули Францию, «отвернувшись от печального зрелища мира, впадшего в безумие». В Ницце они поселились в одном доме, и Наталия Александровна называла их общее жильё «гнездом близнецов». Но ни спасения от мира, ни гармонии двух семей (Герценов и Гервегов) не получилось. После длительного «кружения сердца» Наталия Александровна решила расстаться с Гервегом. Герцен удалил его из дома. Но самолюбивый, эгоцентричный поэт стал преследовать бывшего друга и его жену, не останавливаясь перед личными оскорблениями и даже вызовом Герцена на дуэль.

После смерти Наталии Александровны Герцен счёл вправе объявить Гервега морально падшим человеком. Однако, взглянув на семейную драму с исторической точки зрения, Герцен почувствовал, что замысел его стремительно выходит за пределы интимной темы в историю — русскую и западноевропейскую. «Мемуар» о последних годах жизни стал перерастать в мемуары, охватывающие жизненный путь с самого младенчества, а летопись собственной жизни — в летопись эпохи. Семейная драма оказалась тем зерном, из которого выросла эпопея «Былое и думы». Как же сплелись исторические нити в этой драме, и почему из неё открылся путь в русскую и западноевропейскую жизнь?

Пытаясь определить жанр своей книги, Герцен писал, что ««Былое и думы» не историческая монография, а отражение истории в человеке, случайно попавшемся на её дороге». Обдумывая семейную драму, Герцен вспомнил роман «Арминия», который читал ещё в юности: «Все мы знаем из истории первых веков встречу и столкновение двух разных миров: одного — старого, классического, образованного, но растленного и отжившего, другого — дикого, как зверь лесной, но полного дремлющих сил и хаотического беспорядка стремлений, то есть знаем *официальную*, газетную сторону этой встречи, а не ту, которая совершалась по мелочи, в тиши домашней жизни. Мы знаем гуртовые события, а не судьбы лиц, находившихся в



К.Х. Рейхель. Портрет Н.А. Герцен, жены А.И. Герцена. 1842

прямой зависимости от них и в которых без видимого шума ломались жизни и гибли в столкновениях... Автор «Арминия» (имя его я забыл) попытался воспроизвести эту встречу двух миров у семейного очага: одного, идущего из леса в историю, другого, идущего из истории в гроб».

О чём здесь идёт речь?

Во-первых, о стремлении Герцена почувствовать биение исторического пульса не в массовых («гуртовых») событиях революционного или военного масштаба, а в повседневности, в бытовой жизненной глубине. Можно сказать, что, предвосхищая Л.Толстого, Герцен хочет писать историю «с сорочки, то есть с рубахи, которая телу ближе» (так определил своеобразно историю Толстого в «Войне и мире» А.А.Фет).

Во-вторых, люди в авторском представлении Герцена являются «волосными проводниками истории». За личностью автора стоит судьба России, которая, по его западническим понятиям, *вся в будущем*, которая ещё только *выходит «из леса»* на всемирно-историческое поприще. За Гервегом, напротив, — судьба Западной Европы, историческая миссия которой завершена: она вступает в полосу стагнации и упадка — *движется из истории «в гроб»*.

Анализ семейной драмы Герцен начинается с обобщённой характеристики исторических особенностей русского человека и человека Запада. Русский — ещё диковат, но зато он свободен от «летучей тонкости западного растления», он доверчиво отдаётся человеку, касающемуся его святых, *понимающему его заветные мысли*. Но в простодушии своём он не берёт в расчёт, что эти «заветные мысли» давно сделались для человека Запада «трюизмами, фразами», за которыми скрывается тщеславие, стремление играть красивую роль, утончённый эгоцентризм.

Семейство Гервегов предстаёт со страниц «Былого и дум» как образец болезненного состояния всего европейского человечества. Такова Эмма Гервег с её «мозговой любовью» к своему гениальному мужу, с «преувеличенными ухаживаниями» за ним. Герцен показывает, что в её чувствах к Гервегу преобладает «книжная восторженность, мнимая холодная экзальтация». Это не любовь, а повод для ненасытного удовлетворения утончённых тщеславных чувств.

Дочь банкира, одержимая идолопоклонством перед «гением», сделалась его «нянькой, ключницей, сиделкой, ежеминутной необходимостью низшего порядка». Гервег для

Эммы — предмет непрерывного эстетического любования и рекламы. Когда немецкие эмигранты-революционеры, жившие во Франции, решили в апреле 1848 года организовать вторжение в Германию, возник вопрос, кто может возглавить «баденскую экспедицию». «Кому же, думала Эмма, как не великому поэту: лиру за спину и меч в руки, на «боевом коне», о котором он мечтал в своих стихах. Он будет петь после битв и побеждать после песен; его выберут диктатором, он будет в сонме царей и им продиктует волю своей Германии; в Берлине <...> поставят его статую, и её будет видно из дому старого банкира; века будут воспевать его и — в этих песнопениях... быть может, не забудут добрую, самоотверженную Эмму, которая оруженосцем, пажом, денщиком провозжала его, берегла его <...> И она заказала себе <...> военную амазонку из трёх национальных цветов: чёрного, красного и золотого — и купила себе чёрный бархатный берет с кокардой тех же цветов».

«На каком основании эта женщина втолкунула человека, которого так любила, в это опасное положение? Где, в чём, когда показал он то присутствие духа, то вдохновение обстоятельствами, которое даёт лицу власть над ними, то быстрое соображение, то ясно-видение и тот задор, наконец, без которого нельзя ни хирургу делать операцию, ни партизану начальствовать отрядом?! Где у этого расслабленного была сила одну часть нерв поднять до удвоенной деятельности, а другую перевязать до бесчувственности?»

«У неё был совсем иной расчёт, — его она, не думая сама, рассказала в последующих разговорах и письмах. Республика в Париже провозгласилась почти без боя; революция брала верх в Италии, вести из Берлина, даже из Вены, ясно говорили, что и эти троны покачнулись; трудно себе было представить, что баденский герцог или виртембергский король могли бы устоять против потока революционных идей. Можно было ждать, что при первом клике свободы солдаты бросят оружие, народ примет инсургентов с распростёртыми объятиями: *поэт* провозгласил бы республику, республика провозгласила бы *поэта* диктатором — разве не был диктатором Ламартин? Осталось бы потом диктатору-певцу торжественным шествием проехать по всей Германии с своей чёрно-красно-золотой Эммой в берете, чтоб покрыться военной и гражданской славой...»

На деле оказалось не то. Тупой баденский и швабский солдат ни поэтов, ни республики не знает, а дисциплину и своего фельдфебеля знает очень хорошо и, во врожденному хоплотству, любит их и слепо слушается своих штаб- и обер-офицеров. Крестьяне были взяты врасплох, освободители сунулись без серьёзного плана, ничего не приготовив. <...> При перестрелке Эмма увидела своего испуганного, бледного, со слезами страха на глазах Георга, готового бросить свою саблю и где-нибудь спрятаться, — и окончательно погубила его. Она стала перед ним *под выстрелами* и звала товарищей на спасенье поэта. Солдаты одолевали...

Он скрылся в ближнюю деревушку при самом начале поражения. Там он бросился к какому-то крестьянину, умоляя его, заклиная спрятать его. Крестьянин не скоро решился, боясь солдат; наконец, позвал его на двор и, осмотревшись кругом, спрятал будущего диктатора в пустой бочке и прикрыл соломой, подвергая свой дом разграблению и себя фухтелям и тюрьме. Солдаты явились, крестьянин не выдал, а дал знать Эмме, которая приехала за ним, спрятала мужа в телегу, переделалась, села на козлы и увезла его за границу.

— Как же имя вашего спасителя? — спросили его мы.

— Я забыл его спросить, — отвечал спокойно Гервег.

После этой истории раздражённые товарищи Гервега «принялись с ожесточением терзать несчастного певца, вымещая разом и то, что он разбогател, и то, что квартира его была «с золотым обрезом», и аристократическую изнеженность». Его обвиняли не только в бегстве, но в растрате и утайке общественных денег. И в этих-то обстоятельствах Герцен взял немецкого друга под свою защиту. А Наталия Александровна увидела в судьбе поэта «венюк возле могилы» и прониклась к Гервегу сочувствием, переросшим в любовь.

Обдумывая характер Гервега, аналитически сопоставляя его с собою, Герцен писал: «Гервег как-то сводил всё на свете на себя; он отдавался своекорыстно, искал внимания, робко-самолюбиво был неуверен в себе и в то же время был уверен в своём превосходстве. Всё это вместе заставляло его кокетничать, капризничать, быть иногда преднамеренно печальным, внимательным или невнимательным. Ему был постоянно нужен проводник, наперсник, друг и раб вместе (именно такой, как Эмма), который бы мог выносить холодность и упрёки, когда его служба не нужна, и который при первом знаке готов снова броситься сломя голову и делать с улыбкой и покорностью, что прикажут.

И я искал любви и дружбы, искал сочувствия, даже рукоплесканий, и вызывал их, но этой женски-кошачьей игры в досаду и объяснения, этой вечной жажды внимания, холенья никогда во мне не было. <...> В смехе и горе, в любви и общих интересах я отдавался искренно и мог наслаждаться и горевать, не думая о себе».

Сближаясь с семьёй Герценов, Гервег постоянно «плакал о себе», жаловался на свою слабость, завидовал Герцену в том, что он сильный человек и ему «не нужен ни привет, ни ласка, а что он вянет и гибнет без близкой руки, что он так одинок и несчастен, что хотел бы умереть; что он глубоко уважает Эмму, но что его нежная, иначе настроенная душа сжимается от её крутых, резких прикосновений и «даже от её громкого голоса». Затем следовали страстные уверения в дружбе...» «Он не лгал, но это его ни к чему не обязывало. Ведь и в баденское восстание он шёл не с тем, чтоб оставить своих товарищей в минуту боя, — но, видя опасность, бежал.

Пока нет никакого столкновения, борьбы, пока не требуется ни усилия, ни жертвы, — всё может идти превосходно — целые годы, целая жизнь — но не попадайся ничего на дороге — иначе быть беде — преступлению или стыду».

Между поведением Гервега в семейном быту и поведением его в революционных событиях Герцен устанавливает прямую связь. Эта удивительная способность современного человека Запада везде и во всём свято блюсти только свой эгоистический интерес блестяще раскрыта Герценом в анализе любовной драмы. Замечательны подробности отъезда семейства Гервегов из дома Герцена в Геную. После 1848 года банкир, отец Эммы, разорился, и всё содержание Гервегов и их детей взял на себя Герцен, семейную жизнь которого они разрушили. Перед отъездом Эмма поспешно заказала в магазинах разного рода одежду за счёт гостеприимных русских хозяев. Герцен уплатил все долги Эммы, дав безвозвратно 10 тысяч франков. Но и этого показалось мало. Оставив в доме Герценов на два дня свою горничную, Эмма дала ей поручение закупить как можно больше товаров на чужой счёт. «Говорят, что Цезарь мог читать, писать и диктовать в одно и то же время, а тут какое обилие сил: вздумать об экономическом приобретении полотна и о детских чулках, когда рушится семейство и люди касаются холодного лезвия Сатурновой косы».

Крушение личного счастья привело Герцена к углублению его представлений о любви, о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, о моральных устоях будущего общества. В России он протестовал против «рабства» «контрактного брака» («Кто виноват?»). Теперь он увидел, что «вчерашние рабы брака идут в рабство любви. На любовь суда нет, против неё сил нет». Именно так оправдывал Гервег своё изощрённое увлечение, свои любовные домогательства. Современная Европа взамен старого догмата о святости христианского брака утвердила, по Герцену, новый — «догмат абсолютной неприложности страстей и человеческой несостоятельности бороться с ними». Этот догмат отменяет «всякий разумный контроль, всякую ответственность, всякое самообуздание».

Герцен отрицает «то царственное место, которое дают *любви*», он отрицает «самодержавную власть» её и протестует «против слабодушного оправдания увлечением»: «Неужели женщина искала своего освобождения от семьи, вечной опеки, тиранства мужа, отца, брата, искала своих прав на самобытный труд, на науку и гражданское значение для того, чтоб снова начать всю жизнь ворковать, как горлица, и изнывать от десятка Леон Леони вместо одного?»

3

Таким образом, в «Былом и думах» Герцен смело разрушал существовавшие в мировоззрении его современников границы между разными сферами жизни, между «частным человеком» и «историей». Пред-

восхищая Толстого, в исторический захват Герцен включает всё — и революционные потрясения 1848 года в Западной Европе, и частные судьбы людей: везде открывается общий исторический закон — единый закон судеб человеческих.

Герцен отстаивает право исторической личности вести борьбу и тогда, когда шансов на успех нет, когда толпа творит своих кумиров. Именно героем толпы оказывается у Герцена Наполеон. Образом Наполеона в «Былом и думах» Герцен предвосхищает толстовского Наполеона в романе-эпопее «Война и мир». Влияние Герцена сказывается не только в описании поведения Наполеона в поверженной Москве, где на первый план выступает его безотчётный эгоцентризм, раскрывающийся в беседе с отцом Герцена И.А.Яковлевым. Сама формула «европейского героя», которую «придумала история», подхвачена Толстым у Герцена. Наполеон Герцена в главе «Роберт Оуэн» — герой мещанской, агрессивной «середины», которая всплыла на поверхность общественной жизни после Великой французской революции. Герцен раскрывает исторические корни того культа, который имел Наполеон в отличие от истинных героев времени — социалистов.

«Его винить не за что, французы и без него были бы такие же. Но эта одинаковость вкусов совершенно объясняет любовь к нему народа: для толпы он не был упрёком, он её не оскорблял ни своей чистотой, ни своими добродетелями, он не представлял ей возвышенный, преображённый идеал; он не являлся ни карающим пророком, ни поучающим гением, он сам принадлежал толпе и показал ей её самое, с её недостатками и симпатиями, с её страстями и влечениями, возведённую в гения и покрытую лучами славы. Вот отгадка его силы и влияния; вот отчего толпа плакала об нём, переносила его гроб с любовью и везде повесила его портрет». Нет сомнения, что Толстой знал эту характеристику, опубликованную Герценом в шестой книге «Полярной звезды» на 1861 год.

Влияние Герцена простирается и дальше, отражается в особенностях художественного метода Толстого. Герцен во многом предвосхищал его, улавливая художественной мыслью дыхание исторического целого в бесконечных мелочах анализа. Толстовское искусство изображать дифференциалы истории и затем, художественно интегрируя их, постигать скрытый смысл и закон исторического движения предвосхищается в эпопее Герцена «Былое и думы». Да и психологический анализ Толстого, не ограничивающийся результатом психического процесса, но схватывающий изображением «сам процесс, его формы, законы»⁵, восходит к стремлению Герцена не ограничиваться готовой мыслью, а художественно изображать сам процесс её рождения, её живую диалектику в момент, когда она уже готова взлететь, но ещё не взлетела над миром, не оторвалась от плоти земных наблюдений и фактов, не «окуклилась» в абстракцию.

Как же удаётся Герцену придать мысли эстетический характер?



Д.Б.Арно, В.Адам. «К оружию! Нас предали!» Французская революция. 1847

В организации единства «Былого и дум» ключевую роль играют две группы символических образов, которые, как два полюса магнита, держат под напряжением весь художественный мир книги. Первая группа символизирует мир времён упадка, заката старой, отживающей свой век цивилизации, вторая — мир нарождающийся, за которым маячит отдалённое будущее. Первая группа связана с эпохой языческого Рима времён упадка, вторая — с идущей ему на смену новой христианской цивилизацией.

«В Ватикане есть новая галерея, в которой, кажется, Пий VII собрал огромное количество статуй, бюстов, статуэток, вырытых в Риме и его окрестностях. Вся история римского падения выражена тут бровями, лбами, губами; от дочерей Августа до Поппеи матроны успели превратиться в лореток, и тип лоретки побеждает и остаётся; мужской тип, перейдя, так сказать, самого себя в Антиное и Гермафродите, двоятся: с одной стороны, плотское и нравственное падение, загрязнённые черты развратом и обжорством, кровью и всем на свете, безо лба, мелкие, как у гетеры Гелиогабала, или с опущенными щеками, как у Галбы; последний тип чудесно воспроизвёлся в неаполитанском короле. Но есть и другой — это тип военачальников, в которых вымерло всё гражданское, всё человеческое, и осталась одна страсть — повелевать; ум узок, сердца совсем нет — это монахи властолюбия, в их чертах видна сила и суровая воля. Таковы гвардейские и армейские императоры, которых крамольные легионеры ставили на часы к империи. В их-то числе я нашёл много голов, напоминающих Николая, когда он был без усов».

К этой обобщённой галерее мужских и женских типов тяготеет в книге Герцена всё многообразие портретов и характеров людей, причастных к старому миру — русскому и западноевропейскому. Таков образ вятского губернатора Тюфяева, символизирую-

щий «плотское и нравственное падение, черты, загрязнённые развратом и обжорством»: «Дверь растворилась, и взошёл небольшого роста плечистый старик, с головой, посаженной на плечи, как у бульдога, большие челюсти продолжали сходство с собакой, к тому же они как-то плотоядно улыбались; старое и с тем вместе приапическое выражение лица, небольшие, быстрые, серенькие глазки и редкие прямые волосы делали невероятно гадкое впечатление».

Вариация на эту же тему — изображение французского мещанина, ставшего героем дня после революции 1848 года: «В столовой сидел <...> француз лет тридцати — из новых, теперь слагающихся типов: толстый, рыхлый, белый, белокурый, мягкий, жирный, он, казалось, готов был расплыться, как желе в тёплой комнате, если б широкое пальто и панталоны из упругой материи не удерживали его мясов. Наверно, сын какого-нибудь князя биржи или аристократ демократической империи».

П.В.Анненков вспоминал: «Способность к поминутным, неожиданным сближениям разнородных предметов, которая питалась, во-первых, тонкой наблюдательностью, а во-вторых, и весьма значительным капиталом энциклопедических сведений, была развита у Герцена в необычайной степени — так развита, что под конец даже утомляла слушателя»⁶.

Искусство объединения далеко отстоящих друг от друга явлений торжествует у Герцена и в собирательном портрете Наполеона III, олицетворяющем собою царство середины, безличности, государство разьевших мещан: «...В вагоне, на улице, в Париже, в провинции, в доме, во сне, наяву — везде стоял передо мной сам император с длинными усами, засмолёнными в ниточку, с глазами без взгляда, с ртом без слов. Не только жандармы, которые по положению своему немногие императоры, мерещились мне Наполеонами, но солдаты, сидельцы,

гарсоны и особенно кондукторы железных дорог и omnibusов <...> Шёл ли я обедать в Maison d' Or — Наполеон, в одной из своих ипостасей, обедал через стол и спрашивал трюфели в салфетке; отправлялся ли я в театр — он сидел в том же ряду, да ещё другой ходил по сцене. Бежал ли я от него за город — он шёл по пятам дальше Булонского леса, в шюртуке, плотно застёгнутом, в сагах с круто нафабранными кончиками». «Революция воплотилась в человеке» — была одна из любимых фраз доктринёрского жаргона времён Тьера и либеральных историков луи-филипповских времён. А тут похитрее: «революция и реакция» порядок и беспорядок, *вперёд и назад* воплотились в одном человеке, и человек этот, в свою очередь, перевоплотился во всю администрацию, от министров до сельских сторожей, от сенаторов до деревенских мэров ... рассыпался пехотой, поплыл флотом». «Человек этот не поэт, не пророк, не победитель, не эксцентричность, не гений, не талант, а холодный, молчаливый, угрюмый, некрасивый, расчётливый, настойчивый, прозаический господин “средних лет, ни толстый, ни худой”. <...> Он уничтожает, осредотворяет в себе все резкие стороны национального характера и все стремления народа, как вершинная точка горы или пирамиды оканчивает целую гору ничем».

Образы нового мира, предвосхищающие будущее, осеняет у Герцена другой, прямо противоположный первому, христианский мотив: «После июньских дней я видел, что революция побеждена, но верил ещё в *побеждённых*, в падших, верил в *чудотворную силу мощей*, в их нравственную могучесть». «Якобинцы и вообще революционеры принадлежали к меньшинству, отделившемуся от народной жизни развитием: они составляли нечто вроде *светского духовенства*, готового пасти стада людские». «Наши профессора привезли с собою эти заветные мечты, горячую веру в науку и людей; они сохранили весь пыл юности, и *кафедры для них были святыми наложками*, с которых они были призваны *благовестить истину*; они являлись в аудитории не цеховыми учёными, а *миссионерами человеческой религии*».

Два универсальных образа-символа — Рим времён упадка и христианство, идущее ему на смену, — обусловили динамику образов в книге Герцена: все действующие лица «Былого и дум» тяготеют к тому или иному полюсу, от близости к которому они и получают позитивную или негативную окраску. Герцен предвосхищает здесь во многом Толстого и Достоевского, хотя они и не разделяли его социалистических убеждений. Напомним, что Фёдор Павлович Карамазов у Достоевского имеет «профиль римлянина времён упадка». А в романе Толстого «Анна Каренина» мир господ, перекликающийся с римской толпой, падкой до «хлеба и зрелищ» (сцена скачек), вступает в конфликт с миром христианским (картина художника Михайлова «Увещание Пилата», сцена косьбы, беседа Левина с крестьянином Фёдором о старике Платоне Фоканьче).

Известно, что форма классического европейского романа явилась результатом разложения и распада эпоса. В центре этого романа — частный человек, вступающий в конфликт с общим ходом истории. Герцену в таких пределах тесно. Он не может ограничить себя жанровыми формами романа.

Если в литературе Западной Европы в XIX веке происходил процесс дифференциации творчества во всех родах, видах и жанрах, то у Герцена, как и в русской литературе в целом, уже в начале творческого пути возникает стремление их интегрировать в какую-то новую, широкую и свободную литературную форму. Эта форма, по определению И.Новича, «заключала в себе единство в многообразии — соединение образа искусства и понятия науки, философии и религии, жизни реальной и мистицизма, сцен и мыслей и т. д., то есть единство целой системы противоположностей. В этом “странном замысле”, ставшем впоследствии принципом его литературного творчества, отразилась богатейшая индивидуальность писателя, широта, глубина, многообразие, брожение его идей, мыслей, чувств, разнообразие стремлений, исканий в разных сферах мысли и творчества, темперамент автора, стремление “жить во все стороны”, наконец, — словно ему было тесно в рамках канонизированных литературных форм с их точными границами, с их “табу”»⁷.

Исследователь точно указывает здесь, что исток жанрового своеобразия «Былого и дум» лежит в личности Герцена, резко отличающейся от утверждавшегося в Западной Европе той поры «индивидуума», стремящегося к обособлению, к противопоставлению себя всему миру, теряющему способность рассматривать мир в его целостности. Индивидууму, отмечает М.Дунаев, «оказывается под силу лишь выделение разрозненных частей из общей картины бытия, отдельных вопросов, не связываемых им обычно с проблемами всеобщими»⁸. В личности Герцена отразились родовые черты русского национального характера, каким он раскрылся в Пушкине.

Универсализм личностного сознания Герцена проявляется и в его оценке людей, с которыми его сводила судьба. Он не разделяет в личности человека общественную и частную ипостась: революционность он понимает как категорию не только политическую, но и моральную. «Былое и думы» — не роман, не автобиография, не мемуары, а первая в русской литературе *эпопея* в современных формах искусства.

У русских западников складывалось своё, утопическое представление о Европе. Не был лишён его тогда и автор романа «Былого и дум»: «Мы верим в Европу, как христиане в рай... Мы знаем Европу книжно, литературно, по её праздничной одежде, по очищенным, переставшим отвлечённостью, по всплывшим и отстоявшимся мыслям, по вопросам, зани-

мающим верхние слои жизни, по исключительным событиям, в которых она не похожа на себя. Всё это вместе составляет светлую четверть европейской жизни. Жизнь тёмных трёх четвертей не видна издали, вблизи она постоянно перед глазами.

Во-вторых, и тот слой, который нам знаком, с которым мы входим в соприкосновение, мы знаем исторически, несовременно. Проживши год, другой в Европе, мы с удивлением видим, что вообще западные люди не соответствуют нашему понятию о них, что они *гораздо ниже* его... У нас умственное развитие служит чистилищем и порукой. Исключения редки. Образование у нас до последнего времени составляло предел, который много гнусного и порочного не перешло.

На Западе это не так... Мы не берём в расчёт, что половина речей, от которых бьётся наше сердце и подымается наша грудь, сделались для Европы трюизмами, фразами; мы забываем, сколько других испорченных страстей, страстей искусственных, старческих, напутано в душе современного человека, принадлежащего этой выжившей цивилизации. Он с малых лет бежит в обгонки, источен домогательством, болен завистью, самолюбием, недосыгаемым эпикуреизмом, мелким эгоизмом, перед которым падает всякое отношение, всякое чувство — ему нужна роль, позы на сцене, ему нужно во что бы то ни стало удержать место, удовлетворить своим страстям... Наше *классическое* незнание западного человека наделает много бед...»

«Запад тянул к себе Герцена. Он уехал из России и не только стал внимательно и зорко всматриваться в строй и движение Запада, но и сам пытался вмешаться в это движение. К какому же выводу пришёл Герцен? С неотразимой силой в нём вкоренилось убеждение, что Запад страдает смертельными болезнями, что его цивилизации грозит неминуемая гибель, что нет в нём живых начал, которые могли бы спасти его»⁹.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 ГЕРЦЕН А.И. Собр. соч.: В 30 т. — М., 1954—1966. Здесь и далее произведения А.И.Герцена цитируются по этому изданию без указания тома и страниц.
- 2 СТРАХОВ Н.Н. Литературная критика. — М., 1984. — С. 382. Курсив мой. — Ю.Л.
- 3 ДОСТОЕВСКИЙ Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. — Л., 1984. — Т. 26. — С. 137.
- 4 Там же. — Т. 13. — С. 376—377.
- 5 ЧЕРНЫШЕВСКИЙ Н.Г. Полн. собр. соч.: В 15 т. — М., 1947. — Т. 3. — С. 426.
- 6 АННЕНКОВ П.В. Литературные воспоминания. — М., 1983. — С. 206.
- 7 НОВИЧ И. Молодой Герцен. — М., 1980. — С. 330.
- 8 ДУНАЕВ М.М. Вера в горниле сомнений. Православие и русская литература в XVII—XX вв. — М., 2003. — С. 24.
- 9 СТРАХОВ Н.Н. Литературная критика. — С. 383.